



Основано в 1866 г.

РОССИЙСКОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

АЛЕКСАНДР I

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Фотий в гробу полеживал с приятностью.

В доме графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской на Дворцовой набережной, где гостил по целым месяцам, он устроил себе подземную келью. В темный подвал, освещаемый только огнями неугасимых лампад, вела узкая лестница; пол мраморный, черными и белыми шашками; иконостас, блистающий золотом и драгоценными камнями. Он любил их: в детской простоте, не зная цены деньгам, принимал в подарок от Анны блюдо рубинов или яхонтов, как блюдо земляники. Посередине кельи — гроб. Фотий спал в нем ночью, а иногда и днем отдыхал.

Анна сперва ужасалась, а потом привыкла, и гроб стал ей казаться диваном, тем более, что надоевшую черную обивку заменил он светлую, серебряным глазетом снаружи и белым атласом внутри, «дабы гроб светел был и приятен». Когда в одеянии подобнохимническом, нарочно сшитом по его заказу, как святые на иконах пишутся, лежал он в этом веселом гробу, Анна любовалась на него с умилением:

— Ах, отец, отец, как он мил!

Весь день провел Фотий в хлопотах и разъездах по делу Голицына; устал, измучился; вернувшись домой, завалился в гроб отдыхать. Выпить бы горячего укропника — укропник пил вместо чая, зелья бесовского. Но никто, кроме Анны, не умел варить, а ее дома не было, уехала с визитами.

Фотий сердился, ругался. Держал ее в строгости, помыкал, как последнюю дворовую девкою. А все-таки с приятностью полеживал в гробу своем, благодумствовал, вспоминая последнее свидание митрополита с Аракчеевым.

Аракчеев исполнил обещание, данное государю: поехал к митрополиту и сделал попытку помирить его с князем Голицыным, но ничего не вышло. Сняв с головы белый клобук, митрополит бросил его на стол:

— Граф, донеси царю, что видишь и слышишь. Вот ему клубок мой. Я более митрополитом быть не хочу, с князем Голицыным не могу служить, как явным врагом церкви, престола и отечества!

«Аракчеев смотрел на сие, как на вещь редкую», — вспоминал впоследствии Фотий. Воистину, редкая вещь в России после Петра I, — белый клубок, венец православия, спорящий с венцом самодержавия.

Митрополита Серафима Фотий называл «мокрою курицею». Однажды, готовясь произнести проповедь, в присутствии императора Павла, преосвященный так оробел, что не мог произнести ни слова и должен был удалиться в алтарь. А наемни, собираясь в Зимний дворец по делу Голицына, трижды входил и трижды выходил из кареты; наконец Фотий захлопнул дверцы и крикнул кучеру: «Ступай!» А Магницкий поехал сзади на дрожках, и когда замечал, что кучер, по приказанию владыки, заворачивает в сторону, приказывал от себя ехать прямо во дворец. Вернулся владыка домой, весь мокрый от пота, «как бы из водопада был облит, — по слову Фотия: — такой у него был пот от страха царева».

Мокрой курице не бывать орлом, митрополиту Серафиму — Никоном¹. «От Фотия потрясется весь град св. Петра», — было пророчество. Не оно ли исполняется? Не потрясется ли Россия, вселенная от *патриарха* Фотия?

Прислушался к стуку подъезжавшей кареты. Не раздеваясь, в салопе, шляпке и вуали, запыхавшаяся, испуганная, вбежала в подземную келью графиня Анна.

Лицо плоское, круглое, красное, веснушчатое, как у деревенской девушки. Росту большого — гренадер в юбке. Лет под сорок, а умом ребенок. «Мозги птичьи», — говаривал Фотий. Но в глазах чистых, как вода ключевая, сквозь глупость ума ум сердца светился. Готовилась к тайному постригу; носила власяницу под шелковым фрейлинским платьем; всю жизнь замаливала грех отца графа Алексея Орлова, злодеяние Ропшинское — убийство Петра III.

Ходили слухи о блудном сожителстве Фотия с Анной, но это была клевета.

¹ *Никон* (1605—1681) — патриарх Московский и всея Руси. Имел сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику, что привело к разрыву с царем Алексеем Михайловичем.

«Я, в мире пребывая, ни одинажды не коснулся плоти женской, не познал сласти, — говорил Фотий: — чадо мое о Господе есть девица непорочная во всецелости. Сам Господь мне ее в невесты нескверные дал».

— Не моя вина, батюшка, — залепетала Анна бестолково и растерянно, вбегая в келью: — княгиня Софья Сергеевна без чая отпустить не хотела, о патере Госнере сказывала. Ах, отец, отец, если бы вы знали, какие новости!..

Княгиня Софья Мещерская, одна из духовных дочерей Фотия — большая сплетница, а патер Госнер — заезжий «проповедник Антихриста, сатана-человек, — по мнению Фотия, — публично изрыгавший хулу на Богородицу». При помощи Магницкого и обер-полицеймейстера Гладкова, заговорщики выкрали из-под станка листы печатавшейся книги Госнера, и Фотий сочинял по ним донос, желая приплести это дело к делу Голицына. В другое время о новостях расспросил бы с жадностью, но теперь пропустил мимо ушей: очень сердился.

Долго лежал, не открывая глаз, не двигаясь, точно покойник в гробу; наконец посмотрел на Анну в упор и спросил:

— Где пропадала, подол трепала, чертова девка? На гульбище, небось?

— Да, — потупилась Анна, краснея; лгать не умела. — Один только разок прошлась...

Весеннее гулянье в Летнем саду, куда изредка езжала Анна тайком от Фотия, называл он сатанинским гульбищем.

— Женишка не подцепила ли? Много их нынче там, по весноту, кобелей бесстыжих, военных да штатских, за вашей сестрой, сукою, задравши хвосты, бегают.

— Ну что вы, батюшка! У меня и в мыслях нет, сами знаете...

— Знаю, что знаю. А ты бы хоть то рассудила, что уже не молода и красоты не имеешь плотской; то богатства токмо ради женихи-то подманивают, а денежки вытрясут — и поминай, как звали.

Поднял ногу из гроба, и с привычной ловкостью Анна стащила с нее смазной, подбитый гвоздями мужичий сапог.

— Ох, мозоли, мозолюшки! Ноют что-то, верно, к дождичку, — кряхтел он, подымая другую ногу.

На светлых перчатках у Анны — второпях не успела их снять — от смазных голенищ остались пятна дегтя.

— Думаешь, не знаю, девонька, что у тебя на уме? — усмехнулся вдруг Фотий язвительно: — знаю, голубушка, все вижу

насквозь; вот, мол, какая особа, миллионщица, Орлова-Чесменского дочь, графиня светлейшая, ручки изволят марать о сапоги мужичьи поганые! А только мне на графство твое наплевать и на миллионы тоже. Тридцать миллионов — тридцать сребреников — цена крови. Знаешь, чья кровь? Грех отца знаешь? Ну, чего молчишь? Говори, знаешь?

— Знаю, — прошептала Анна, бледнея и опуская голову.

— А коли знаешь — кайся, отца духовного слушай. Аль отца по плоти влюбила больше, чем отца духовного? Послушание паче поста и молитвы. Вот скажу тебе: «Анна, скажу, обругай отца!» Ты и обругать должна...

Она отвернулась и молча горько заплакала. Готова была терпеть все; но чтобы он над памятью отца ее ругался — не могла вынести.

— Ну, чего нюни распустила, дура? Любя говорю.

— Простите, батюшка! — сказала она, припадая к руке его и уже забыв обиду.

— Бог простит. Ступай, завари-ка укропничку.

Послышался стук в дверь.

— Кто там?

— Его сиятельство, князь Александр Николаевич Голицын, — доложил келейник.

Анна заторопилась, хотела бежать навстречу гостю.

— Стой! Куда? — удержал ее Фотий: — Ничего, подождет, не велика птица. Давай сапоги.

Надел их опять с помощью Анны, встал из гроба, подошел к аналою, зажег свечу, положил Евангелие, поставил чашу с Дарами, взял в руки крест, делая все нарочно медленно; наконец велел позвать Голицына. Анна побежала за ним.

«Входит князь и образом, яко зверь-рысь, является», — рассказывал впоследствии Фотий.

— Благословите, отче!

— В богохульной и нечестивой книжице, «Таинство Креста» именуемой, под твоим надзором, княже, опубликовано: «Духовенство есть зверь». А понеже и аз, грешный, из числа онаго есмь, то благословить тебя не хочу, да тебе и не надобно.

— Ну что ж, — сразу вспыхнул Голицын, — пожалуй, и лучше так: — война так война! Довольно хитростей, довольно лжи...

— Какая ложь? Какая война? О чем говоришь, князь, не разумею.

— Не разумеете? Ну, так я вам скажу, извольте! Я знаю все,

отец Фотий: знаю, как с негодяем Аракчеевым вступили вы в союз; как государю на меня клеветаете; одной рукой обнимаете, а другой точите нож; предаете лобзанием иудиним; говорите: «Христос посреди нас», — а посреди нас дьявол, отец лжи. Листы печатные из-под станка выкрали, — да ведь это мошенничество! Как вам не стыдно, отец? Погодите, уже обо всем доложу государю. Посмотрим, кто кого!

Фотий молчал. Оба хитрые, хищные, стояли они друг против друга, два маленьких зверька, готовые сцепиться в смертном бое, — рысь и хорек.

— Убойся Бога, князь, — заговорил, наконец, Фотий: — за что на меня злобствуешь? От личности твоей я чист, зла на тебя не имею. Господь с тобою...

— Не лгите, хоть теперь-то не лгите! Во второй раз не обманете. Дурак я вам дался, что ли? Говорите лучше прямо: что вам от меня нужно?

— Покайся, останови книги богопротивные, в коих сеется разврат и революция, — начал было Фотий.

— Да сколько же раз мне вам повторять: не могу я ничего остановить! Не меня обвиняйте, а государя.

— Ну, так поди к царю, стань перед ним на колени и скажи, что сам делал худо и его...

— Как вы смеете, — вдруг закричал Голицын и затопал ногами, — как вы смеете говорить так о государе императоре? В революции других обвиняете, а сами же — революционист отъявленный...

— Аз есмь раб Господа моего, Иисуса Христа, послан тебя обличить, да покаешься! — закричал и Фотий. — Предстану с тобою на Страшном суде, обличу, сокрушу, осужу в геенну огненную!

Оба кричали. Анна слушала из-за дверей в ужасе: «Ох, подерутся!»

— Ну, с вами, отец, не сговоришь, — попятился Голицын к лестнице, думая уже только о том, как бы уйти от греха. — Нога моя здесь больше не будет, так и доложу государю. Честь имею кланяться...

— Стой, погоди! Так не уйдешь, не отвертишься! Се, аз простираю руку мою...

— Пустите же, пустите! — кричал Голицын в испуге, стараясь вырвать руку, но Фотий не пускал: одной рукой держал князя, другою поднял крест, и так страшно было лицо его, что

вдруг показалось Голицыну, что он сейчас ударит его крестом, как ножом, — убьет.

— Се, аз руку мою простираю к небу, и суд Божий изрекаю на тя и на всех! Много ли вас? Тьмы ли тем бесчисленные? Выходите все! Да поразит вас всех Господь! Отлучаю! Извергаю! Проклинаю! Анафема!

Голицын побледнел. «Сумасшедший!» — промелькнуло в голове его, точно так же, как наемни у государя. Последним отчаянным усилием вырвал он руку и пустился бежать; вверх по лестнице и через все покои дома бежал так быстро, что на груди его орденская звезда прыгала и фракные фалды развевались.

Фотий гнался за ним: лицо искаженное, глаза горящие, волосы дыбом — хорек бешеный.

Келейник разинул рот и присел от ужаса. Синодский чиновник Степанов, похожий на старого сома (это он корректурные листы Госнеровой книги выкрал), остолбенел и глаза выпучил. А когда бежали они через большую парадную залу с портретами царских особ, то казалось, что и они все, — от Петра I, который начал, до Павла I, который завершил плен церкви властью мирской, — смотрели с удивлением на невиданное зрелище: как обер-прокурор Синода, око царево, от церкви отлучается.

— Анафема! — гремел Фотий вслед убежавшему. — Будь ты проклят! Бога не узришь, снидешь во ад! И все с тобою, все прокляты! Анафема! Анафема! Анафема всем!

Анна бежала за Фотием и ловила его за полы.

— Отец! Отец!

Уже Голицын добежал до сеней. Фотий не отставал: казалось, готов был выскочить на улицу. Но Анна успела его догнать, охватила руками, повисла у него на шее.

В последний раз закричал, завизжал он осипшим голосом: «Анафема!», — и повалился на руки подскочивших слуг, которые перенесли его в залу и усадили в кресло, бьющегося в припадке, рыдающего и хохочущего.

Совершилось пророчество; от Фотия потрясся весь град св. Петра: анафема Голицыну, обер-прокурору Синода, тридцатилетнему другу царево, — анафема самому царю.

Все ожидали, что-то будет? Ходили слухи, что царь гневен. Анне казалось, что вот-вот схватят Фотия и сошлют в Сибирь. Заболела от страха.

— Небось, Аннушка! Что мне обер-прокурор? Блоха, ее же

убивает пес трясением ушей. С нами Бог! Господь сил с нами! Кто против нас? — храбрился Фотий, но тоже робел.

Мая 15-го, в день Вознесения, сидел он у постели больной Анны и утешал ее, советовал, не прибегая к помощи медиков, немцев поганых, натереть с молитвою все тело оподельдоком:

— Помни, в зеленых банках худой, а самый лучший — в белых. Натрешься — все как рукой снимет.

Говорил также, чтобы развлечь ее, о колоколе большом, в 2000 пуд весом, во имя Купины Неопалимой¹, который собирался отлить для Юрьевской обители из дешевой краденой меди.

— Сколь приятен будет звон и утешителен!

Но Анна не слушала, думала все об одном: как придут, схватят и увезут батюшку.

Постучался келейник у двери и подал письмо.

— От кого? — спросила Анна.

— От митрополита, — ответил Фотий, распечатывая дрожащими пальцами.

У Анны сердце захолонуло: уж не о ссылке ли указ?

Вдруг Фотий вскочил, захлопал в ладоши и запел по-церковному.

— Аллилуия! Аллилуия! Аллилуия! Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе! Ад сокрушен, сатана побежден! Пало мирское владычество над церковью! Министр наш един — Иисус Христос! Слава Фотию! Слава Господу! Слава Аракчееву!

Анна смотрела и не верила глазам своим: батюшка поднял рясу и притопывал, как будто собираясь плясать.

— Восстань, дочь, — воскликнул он, схватив ее за руку: — ничего, небось, поясница пройдет и оподельдока не надобно, вот оподельдок наш божественный! — махал письмом. — Восстань с одра, пой, пляши, девонька!

— Что вы, что вы, отец! Я же не одета...

— Бог простит, не стыдись, пляши во славу Господа!

— Да что, что такое, батюшка миленький, что с вами? — говорила, бледнея от ужаса, Анна: ей казалось, что он сошел с ума.

— А вот что, — бросил ей Фотий письмо, — читай!

Митрополит извещал его о только что подписанном указе: обер-прокурор Св. Синода, князь Голицын, отставлен от должности; министерство духовных дел уничтожено; Синоду быть по-прежнему.

¹ Икона Божьей Матери. «Купина Неопалимая» — куст, который горел, но не сгорал (Исход, III, 2).

И опять все затаило дыхание, притихло, пришипилося. От государя ни слуху ни духу, как будто забыл он о Фотии.

Наконец 13 июня, поздно вечером, пришло в Лавру высочайшее повеление явиться Фотию на следующий день в Зимний дворец.

Не знал он, что ожидает его — в архиереи ли посвятят, или в Сибирь сошлют; на всякий случай исповедался и причастился.

Так же, как в первый раз, взошел Фотий с камердинером Мельниковым потайною Zubовской лестницей, днем с огнем, так же, идучи по ней, крестился и крестил все углы, переходы, двери и стены дворца, помышляя, что «тьмы здесь живут сил вражьих». А войдя в кабинет государев, сначала медленно, истово перекрестился и потом уже взглянул на государя. Государь принял благословение и усадил Фотия за свой письменный стол. Но тут же пошло все по-иному. Взглянув на лицо государя, Фотий сразу понял, что дело плохо, и как начал дрожать мелкою дрожью, так уже не переставал до конца свидания. Рассказывал впоследствии, будто бы на теле его, во время этой беседы, выступил кровавый пот.

— Я пригласил вас, отец, для того, чтобы узнать, правда ли, что вы князя Александра Николаевича Голицына предали анафеме?

— Ваше величество, не я, а Сам Господь с небесе рече...

— Извольте отвечать, о чем спрашивают! — прикрикнул на него государь, и в голосе его послышались те же визгливые звуки, как у императора Павла, когда он гневался. — Правда или неправда? Отвечайте!

— Правда.

— Какой же властью вы это сделали?

Фотий молчал, дрожал, смотрел в окно и крестился маленькими, частыми крестиками.

Лицо государя было гневно; сперва хотел он только пострадать его, но потом увлекся, — как актер, вошел в свою роль и заговорил почти искренно.

— Какой властью вы это сделали? — повторил, возвышая голос. — Кто вас поставил судить между мной и церковью, между мной и Богом? И за что вы все напали на Голицына? Из-за чего бунтуете? Чего хотите? Свободы церкви от власти мирской? Да не вы ли сами поработились мирскому владычеству? Много мы, государи, всякой низости видим, но такой, как у вас, господа

духовные, Богом свидетельствуюсь, я нигде не видывал. Когда главою церкви, вместо Христа, объявили самодержца Российского, человека сделали Богом, — кощунство из кощунств, мерзость из мерзостей! — где вы были тогда, где была свобода ваша? Все предали, всему изменили, надругаться дали над святынею. Не все ли вы, от первого до последнего, пастыри церкви Российской, припадали к ногам моим, кричали: «Осанна!» как Самому Христу Господню? Не я ли должен был повелевать указами, чтобы не было сего, чтобы с Богом меня не равняли, Благословенным, Бессмертным не называли? Вспомнить, выговорить стыдно и страшно, но у вас, отцы, давно уже ни страха, ни стыда в глазах... А туда же, бунтовать вздумали! О свободе церкви говорить смеете... Ну, что ж, не захотели Голицына, — будет вам Аракчев. А вы, отец Фотий, — я думал, что вы лучше других, поверил вам, — и вот чем отплатили вы! Бог вам судия. Но понимаете ли, понимаете ли, что вы сделали?..

Встал и быстрыми шагами ходил по комнате. Как всегда в гневе, не все лицо его, а только лоб краснел; и он закрывал его платком, как будто вытирал пот.

А Фотий по-прежнему глядел в окно на небо, молчал, дрожал и крестился.

— Понимаете ли? — повторил государь, остановившись перед ним, и, взглядевшись в лицо его, увидел, что он ничего не понимает и никогда не поймет: все — как горох об стену.

Государь опустил в кресло и вдруг почувствовал, что весь гнев его потух.

— Ну, что же вы молчите? Говорите, отвечайте же.

— Что мне тебе сказать, государь? — робко взглянул на него Фотий. — Аще бы не токмо князь Голицын, но ангел, сшед с небесе, глаголал учению церкви противное и о царе злое, я сказал бы: анафема!

— И мне сказал бы?

Фотий молчал.

— Ну, ничего, говорите, говорите, я слушаю, — усмехнулся государь едва уловимой, брезгливой усмешкой.

— Что делать мне дано было свыше, яко послал меня Бог возвестить правду царю моему, то я и сделал, — уже смелее взглянул на него Фотий. — Видя, что вся святыня испровергается, едина злоба возвещается, ужели я молчать должен, поверив, что все сие зло ты, царь, сотворил, чему верит Голицын, да и меня

хотел научить верить? Святитель Николай Чудотворец на Вселенском соборе заушил¹ нечестивого Ария...

Подав государю выданный из жития листок — рассказ о том, как отцы Никейского собора за пощечину Арию присудили св. Николая архиерейского сана лишить.

— Вот видите, что со святителем Николаем сделали, — произнес государь, не дочитав листка.

— Неправильно сделали.

— Как неправильно?

— Чти до конца: отцы осудили угодника Божьего, Господь же, явившись Сам, подав ему св. Евангелие, а Матерь Божья — омофор, во знамение, что свыше сила небесная защитит его имеет всегда...

Долго еще говорил Фотий, постепенно возвышая голос, и, наконец, так же как в первое свидание, закричал, завопил, занеистовствовал, начал вытаскивать бесчисленные листки из-за рукавов, из-за голенищ, из-за пазухи — весь был обложен ими, как воин доспехами.

Государь слушал молча, со скукою.

Доставая один из листков, Фотий распахнул рясу; хотел закрыть, но государь не дал ему, наклонился, раздвинул складки и увидел под железными веригами, на голой груди его, страшную, железом натертую, до костей зияющую рану.

— Что дивишься, царь? — воскликнул Фотий: — Гляди, когда хочешь, и знай, что, себя не жалеючи, никого не пожалею ради Господа!

Государь отвернулся; лицо его болезненно сморщилось. Жалко было Фотия, но и себя жалко; жалко и стыдно. Вспомнил, как в первое свиданье поклонился ему в ноги, готов был видеть в нем своего избавителя, посланника Божьего. Не то одержимый, не то помешанный, — вот за кого ухватился, как утопающий. Быть смешным боялся больше всего на свете, а с Фотием был смешон; этого никому никогда не прощал, — не простил и ему.

А тот продолжал неистовствовать.

Государь встал, налил стакан воды и подав ему.

— Успокойтесь, отец, выпейте. Я зла против вас не имею: что сказал, то сказал, и больше ничего не будет. Я всегда рад вас видеть, а теперь прошу меня извинить, — дела неотложные.

И позвонил Мельникова.

То было последнее свидание государя с Фотием.

¹ Заушить (устар.) — оскорбить, опорочить.

Торжество его, впрочем, как будто продолжалось. Патер Гос-нер, по высочайшему повелению, выслан был за границу, и книга его сожжена в печах кирпичного завода Александро-Невской лавры; жгли три часа, в двадцати печах, и при этом присутствовал Фотий, возглашая анафему. Аракчеев исходатайствовал ему панагию «за торжество православия».

«Порадуйся, старче преподобный, — писал Фотий симоновскому архимандриту Герасиму, — нечестие пресеклось, армия богохульная диавола паде, ересей и расколов язык онемел; общества все богопротивныя, якоже ад, сокрушились. Министр наш один — Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. Молись об Аракчееве: он явился, раб Божий, за св. церковь и веру, яко Георгий Победоносец».

Но этим торжество и кончилось. Внезапно, точно сговорившись, все отшатнулись от Фотия. Долго не понимал он, за что; когда же понял, что милостям царским — конец, то пал духом, заболел, едва не умер и, только что оправился, уехал из Петербурга, «бежал из града, яко из ада», в свой новгородский Юрьевский монастырь добровольным изгнанником, вместе с Анною.

Министром же духовных дел оказался не Иисус Христос, а граф Аракчеев. Все доклады по делам Св. Синода представлялись государю через него. Сразу ввел он порядок военный в духовном ведомстве: Святые Отцы при нем пикнуть не смели, стали тише воды, ниже травы. И пожалели о Голицыне.

В Андреевском соборе села Грузина появился в те дни новый образ — Спаситель, держащий на деснице Евангелие; образ покрыт был литою серебряною ризою; ежели открыть стеклянную раму, то можно увидеть, что один из серебряных листов Евангелия на едва заметном шарнире отгибается, и под этим листом — другой образок: Аракчеев — в парадном генеральском мундире, со всеми орденами, сидящий на облаках, как бы грядущий со славой судить живых и мертвых.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Государь похож на того спартанского мальчика, который, спрятав под плащом лисицу, сидел в школе и, когда зверь грыз ему внутренности, терпел и молчал, пока не умер».

Так думал князь Александр Николаевич Голицын, когда в беседах с ним государь бывал откровенен и, казалось, вот-вот заговорит о главном, единственном, для чего, может быть, и начинал